

ЭТЕЛЬ ЛИЛИАН ВОЙНИЧ

ОВОД



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

УДК 821.111-31
ББК 84 (4Вел)-44
В65

Серия «Эксклюзивная классика»

Etel Lillian Voynich
GADFLY

Перевод с английского Н. Волжиной

Серийное оформление Е. Фerez

Печатается с разрешения Etel Lillian Voynich Associates
и литературных агентств Fort Ross Inc. и Nova Littera Ltd.

Войнич, Этель Лилиан.

В65 Овод : [роман] / Этель Лилиан Войнич; [пер. с англ.
Н.А. Волжиной.] — Москва: Издательство АСТ, 2018. —
350, [2] с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-084521-7

Артур Бертон — молод, полон свободолюбивых идей и романтических иллюзий. Пережив предательство товарищей и любимой женщины — потеряв все, он исчезает, чтобы вернуться совсем иным, с чужим именем и внешностью. Но под маской возмужавшего, насмешливого и едкого Овода — все тот же порывистый Артур, по-прежнему верный прекрасным идеалам своей юности.

Романтика национально-освободительной борьбы, трагедия великой, страстной и несчастной любви, увлекательный сюжет с захватывающей интригой и необычайно многогранный и обаятельный образ главного героя, — все это позволило роману «Овод» стать неподвластным времени.

УДК 821.111-31
ББК 84 (4Вел)-44

© ELV Associates, 2010
© Перевод. Н. Волжина, наследники, 2010
© Издание на русском языке AST Publishers, 2018

От автора

Приношу глубочайшую благодарность всем тем в Италии, кто оказал мне помощь по сбору материалов для этого романа. С особой признательностью вспоминаю любезность и благожелательность служащих библиотеки Маручеллиана во Флоренции, а также Государственного архива и Гражданского музея в Болонье.

Часть первая

Глава I

Артур сидел в библиотеке духовной семинарии в Пизе и просматривал стопку рукописных проповедей. Стоял жаркий июньский вечер. Окна были распахнуты настежь, ставни наполовину притворены. Отец ректор, каноник Монтанелли, перестал писать и с любовью взглянул на черную голову, склонившуюся над листами бумаги.

— Не можешь найти, *сагіно*?* Оставь. Придется написать заново. Я, вероятно, сам разорвал эту страничку, и ты напрасно задержался здесь.

Голос у Монтанелли был тихий, но очень глубокий и звучный. Серебристая чистота тона придавала его речи особенное обаяние. Это был голос прирожденного оратора, гибкий, богатый оттенками, и в нем слышалась ласка всякий раз, когда отец ректор обращался к Артуру.

— Нет, *padre*** , я найду. Я уверен, что она здесь. Если вы будете писать заново, вам никогда не удастся восстановить все, как было.

* Дорогой (*ит.*).

** Отец (*ит.*); у итальянцев — обычное обращение к священнику.

Монтанелли продолжал прерванную работу. Где-то за окном однотонно жужжал майский жук, а с улицы доносился протяжный, заунывный крик торговца фруктами: «Fragola! Fragola!»*

— «Об исцелении прокаженного» — вот она!

Артур подошел к Монтанелли мягкими, неслышными шагами, которые всегда так раздражали его домашних. Небольшого роста, хрупкий, он скорее походил на итальянца с портрета XVI века, чем на юношу 30-х годов из английской буржуазной семьи. Слишком уж все в нем было изящно, словно выточено: длинные стрелки бровей, тонкие губы, маленькие руки, ноги. Когда он сидел спокойно, его можно было принять за хорошенькую девушку, переодетую в мужское платье; но гибкими движениями он напоминал прирученную пантеру, — правда, без когтей.

— Неужели нашел? Что бы я без тебя делал, Артур? Вечно все терял бы... Нет, довольно писать. Идем в сад, я помогу тебе разобраться в твоей работе. Чего ты там не понял?

Они вышли в тихий тенистый монастырский сад. Семинария занимала здание старинного доминиканского монастыря, и двести лет назад его квадратный двор содержался в безупречном порядке. Ровные бордюры из букса окаймляли аккуратно подстриженный розмарин и лаванду. Монахи в белой одежде, которые когда-то ухаживали за этими растениями, были давно похоронены и забыты, но душистые травы все еще благоухали здесь в мягкие летние вечера, хотя уже никто не собирал их для лекарственных целей. Теперь между каменными плитами дорожек пробивались усики дикой петрушки и водосбора. Колодец среди двора зарос папоротником. Запущенные розы одича-

* Земляника! Земляника! (*ит.*)

ли; их длинные спутанные ветки тянулись по всем дорожкам. Среди букса адели большие красные маки. Высокие побеги наперстянки склонялись над травой, а бесплодные виноградные лозы, покачиваясь, свисали с ветвей боярышника, уныло кивавшего своей покрытой листьями верхушкой.

В одном углу сада поднималась ветвистая магнолия с темной листвой, окропленной там и сям брызгами молочно-белых цветов. У ствола магнолии стояла грубая деревянная скамья. Монтанелли опустился на нее.

Артур изучал философию в университете. В тот день ему встретилось трудное место в книге, и он обратился за разъяснением к padre. Он не учился в семинарии, но Монтанелли был для него подлинной энциклопедией.

— Ну, пожалуй, я пойду, — сказал Артур, когда непонятные строки были разъяснены. — Впрочем, может быть, я вам нужен?

— Нет, на сегодня я работу закончил, но мне бы хотелось, чтобы ты немного побыл со мной, если у тебя есть время.

— Конечно, есть!

Артур прислонился к стволу дерева и посмотрел сквозь темную листву на первые звезды, слабо мерцающие в глубине спокойного неба. Свои мечтательные, полные тайны синие глаза, окаймленные черными ресницами, он унаследовал от матери, уроженки Корнуэлла. Монтанелли отвернулся, чтобы не видеть их.

— Какой у тебя утомленный вид, *carino*, — проговорил он.

— Что поделаешь...

В голосе Артура слышалась усталость, и Монтанелли сейчас же заметил это.

— Напрасно ты спешил приступать к занятиям. Болезнь матери, бессонные ночи — все это изнурило тебя. Мне следовало настоять, чтобы ты хорошенько отдохнул перед отъездом из Ливорно.

— Что вы, padre, зачем? Я все равно не мог бы остаться в этом доме после смерти матери. Джули довела бы меня до сумасшествия.

Джули была жена старшего сводного брата Артура, давний его недруг.

— Я и не хотел, чтобы ты оставался у родственников, — мягко сказал Монтанелли. — Это было бы самое худшее, что можно придумать. Но ты мог принять приглашение своего друга, английского врача. Провел бы у него месяц, а потом снова вернулся к занятиям.

— Нет, padre! Уоррены — хорошие, сердечные люди, но они многого не понимают и жалеют меня — я вижу это по их лицам. Стали бы утешать, говорить о матери... Джемма, конечно, не такая. Она всегда чувствовала, чего не следует касаться, — даже когда мы были еще детьми. Другие не так чутки. Да и не только это...

— Что же еще, сын мой?

Артур сорвал цветок с поникшего стебля наперстянки и нервно сжал его в руке.

— Я не могу жить в этом городе, — начал он после минутной паузы. — Не могу видеть магазины, где она когда-то покупала мне игрушки; набережную, где я гулял с нею, пока она не слегла в постель. Куда бы я ни пошел — все то же. Каждая цветочница на рынке по-прежнему подходит ко мне и предлагает цветы. Как будто они нужны мне теперь! И потом... кладбище... Нет, я не мог не уехать! Мне тяжело видеть все это.

Артур замолчал, разрывая колокольчики наперстянки. Молчание было таким долгим и глубоким,

что он взглянул на padre, недоумевая, почему тот не отвечает ему. Под ветвями магнолии уже сгушались сумерки. Все расплывалось в них, принимая неясные очертания, однако света было достаточно, чтобы разглядеть мертвенную бледность, разлившуюся по лицу Монтанелли. Он сидел, низко опустив голову и ухватившись правой рукой за край скамьи. Артур отвернулся с чувством благоговейного изумления, словно нечаянно коснувшись святыни.

«О боже, — подумал он, — как я мелок и себялюбив по сравнению с ним! Будь мое горе его горем, он не мог бы почувствовать его глубже».

Монтанелли поднял голову и огляделся по сторонам.

— Хорошо, я не буду настаивать, чтобы ты вернулся туда, во всяком случае теперь, — ласково проговорил он. — Но обещаю тебе, что ты отдохнешь по настоящему за летние каникулы. Пожалуй, тебе лучше провести их где-нибудь подальше от Ливорно. Я не могу допустить, чтобы ты совсем расхворался.

— Padre, а куда вы поедете, когда семинария закроется?

— Как всегда, повезу воспитанников в горы, устрою их там. В середине августа из отпуска вернется мой помощник. Тогда отправлюсь бродить в Альпах. Может быть, ты поедешь со мной? Будем совершать в горах длинные прогулки, и ты познакомишься на месте с альпийскими мхами и лишайниками. Только боюсь, тебе будет скучно со мной.

— Padre! — Артур сжал руки. Этот привычный ему жест Джули приписывала «манерности, свойственной только иностранцам». — Я готов отдать все на свете, чтобы поехать с вами! Только... я не уверен...

Он запнулся.

— Ты думаешь, мистер Бертон не разрешит тебе?

— Он, конечно, будет недоволен, но помешать нам не сможет. Мне уже восемнадцать лет, и я могу поступать, как хочу. К тому же Джеймс ведь мне только сводный брат, и я вовсе не обязан подчиняться ему. Он всегда недолго любил мою мать.

— Все же, если мистер Бертон будет против, я думаю, тебе лучше уступить. Твое положение в доме может ухудшиться, если...

— Ухудшиться? Вряд ли! — горячо прервал его Артур. — Они всегда меня ненавидели и будут ненавидеть, что бы я ни делал. Да и как Джеймс может противиться, если я еду с вами, моим духовником?

— Помни — он протестант! Во всяком случае, лучше написать ему. Посмотрим, что он ответит. Побольше терпения, сын мой. В наших поступках мы не должны руководствоваться тем, любят нас или ненавидят.

Это внушение было сделано так мягко, что Артур только чуть покраснел, выслушав его.

— Да, я знаю, — ответил он со вздохом. — Но ведь это так трудно!

— Я очень жалел, что ты не мог зайти ко мне во вторник, — сказал Монтанелли, резко меняя тему разговора. — Был епископ из Арещо, и мне хотелось, чтобы ты его повидал.

— В тот день я обещал быть у одного студента. У него на квартире было собрание, и меня ждали.

— Какое собрание?

Артур несколько смутился.

— Вернее... вернее, не собрание... — сказал он, запинаясь. — Из Генуи приехал один студент и произнес речь. Скорее это была лекция...

— О чем?

Артур замялся.

— Padre, вы не будете спрашивать его фамилию?
Я обещал...

— Я ни о чем не буду спрашивать. Если ты обещал хранить тайну, говорить об этом не следует. Но я думаю, ты мог бы довериться мне.

— Конечно, padre. Он говорил... о нас и о нашем долге перед народом, о нашем... долге перед самими собой. И о том, чем мы можем помочь...

— Помочь? Кому?

— Contadini* и...

— И?

— Италии.

Наступило долгое молчание.

— Скажи мне, Артур, — серьезным тоном спросил Монтанелли, повернувшись к нему, — давно ты стал думать об этом?

— С прошлой зимы.

— Еще до смерти матери? И она ничего не знала?

— Нет. Тогда это еще не захватило меня.

— А теперь?

Артур сорвал еще несколько колокольчиков на персянке.

— Вот как это случилось, padre, — начал он, опустив глаза. — Прошлой осенью я готовился к вступительным экзаменам и, помните, познакомился со многими студентами. Так вот, кое-кто из них стал говорить со мной обо всем этом... Давали читать книги. Но тогда мне было не до того. Меня тянуло домой, к матери. Она была так одинока там, в Ливорно! Ведь это не дом, а тюрьма. Чего стоит язычок Джули! Он один был способен убить ее. Потом зимой, когда мать тяжело заболела, я забыл и студентов и книги и, как вы знаете, совсем перестал бывать в

* Крестьянам (*um.*).

Пизе. Если б меня волновали эти вопросы, я бы все рассказал матери. Но они как-то вылетели у меня из головы. Потом я понял, что она доживает последние дни... Вы знаете, я был безотлучно при ней до самой ее смерти. Часто просиживал у ее постели целые ночи. Днем приходила Джемма Уоррен, и я шел спать. Вот в эти-то длинные ночи я и стал задумываться над прочитанным и над тем, что говорили мне студенты. Пытался уяснить, правы ли они... Думал: а что сказал бы обо всем этом Христос?

— Ты обращался к нему? — Голос Монтанелли прозвучал не совсем твердо.

— Да, padre, часто. Я молил его наставить меня или дать мне умереть вместе с матерью... Но ответа не получил.

— И ты не поговорил об этом со мной, Артур! А я-то думал, что ты доверишь мне!

— Padre, вы ведь знаете, что доверяю! Но есть вещи, о которых никому не следует говорить. Мне казалось, что тут никто не может помочь — ни вы, ни мать. Я хотел получить ответ от самого Бога. Ведь решался вопрос о моей жизни, о моей душе.

Монтанелли отвернулся и стал пристально всматриваться в сумерки, окутавшие магнолию. Они были так густы, что его фигура казалась темным призраком среди еще более темных ветвей.

— Ну а потом? — медленно проговорил он.

— Потом... она умерла. Последние три ночи я не отходил от нее...

Артур замолчал, но Монтанелли сидел не двигаясь.

— Два дня перед погребением я только о ней и думал, — продолжал Артур совсем тихо. — Потом, после похорон, я заболел и не мог прийти на исповедь. Помните?

— Помню.

— В ту ночь я поднялся с постели и пошел в комнату матери. Там было пусто. Только в алькове стояло большое распятие. Мне казалось, что Господь поможет мне. Я упал на колени и ждал — всю ночь. А утром, когда я пришел в себя... Нет, padre! Я не могу объяснить, не могу рассказать вам, что я видел. Я сам едва помню. Но я знаю, что Господь ответил мне. И я не смею противиться его воле.

Несколько минут они сидели молча, затем Монтанелли повернулся к Артуру и положил ему руку на плечо.

— Сын мой! — проговорил он. — Я не посмею сказать, что Господь не обращался к твоей душе. Но вспомни, в каком ты был состоянии тогда, и не принимай болезненную мечту за высокий призыв Господа. Если действительно такова была его воля — ответить тебе, когда смерть посетила твой дом, — смотри, как бы не истолковать ошибочно его слово. Куда зовет тебя твое сердце?

Артур поднялся и ответил торжественно, точно повторяя слова катехизиса:

— Отдать жизнь за Италию, освободить ее от рабства и нищеты, изгнать австрийцев и создать свободную республику, не знающую иного властелина, кроме Христа!

— Артур, подумай, что ты говоришь! Ты ведь даже не итальянец!

— Это ничего не значит. Я остаюсь самим собой. Мне было видение, и я исполню волю Господа.

Снова наступило молчание.

— Ты говоришь, что Христос... — медленно начал Монтанелли.

Но Артур не дал ему докончить:

— Христос сказал: «Потерявший душу свою ради меня, сбережет ее».

Монтанелли оперся локтем о ветвь магнолии и прикрыл рукой глаза.

— Сядь на минуту, сын мой, — сказал он наконец.

Артур опустился на скамью, и Монтанелли, взяв его руки в свои, крепко сжал их.

— Сейчас я не могу спорить с тобой, — сказал он. — Все это произошло так внезапно... Мне нужно время, чтобы разобраться. Как-нибудь после мы поговорим об этом подробно. Но сейчас я прошу тебя помнить об одном: если с тобой случится беда, если ты погибнешь, я не перенесу этого...

— Padre!

— Не перебивай, дай мне кончить. Я тебе уже говорил, что у меня нет никого во всем мире, кроме тебя. Ты вряд ли понимаешь, что это значит. Трудно тебе понять — ты так молод. В твои годы я тоже не понял бы. Артур, ты для меня как... как сын. Понимаешь? Ты свет очей моих, ты радость моего сердца! Я готов умереть, лишь бы удержать тебя от ложного шага, который может погубить твою жизнь! Но я бессилен. Я не требую от тебя обещаний. Прошу только: помни, что я сказал, и будь осторожен. Подумай хорошенько, прежде чем решаться на что-нибудь. Сделай это хотя бы ради меня, если уж не ради твоей покойной матери...

— Хорошо, padre, а вы... вы... помолитесь за меня и за Италию.

Артур молча опустился на колени, и так же молча Монтанелли коснулся его склоненной головы. Прошло несколько минут. Артур поднялся, поцеловал руку каноника и, неслышно ступая, пошел по росистой траве. Оставшись один, Монтанелли дол-

го сидел под магнолией, глядя прямо перед собой в темноту.

«Отмщение Господа настигло меня, как царя Давида, — думал он. — Я осквернил его святилище и коснулся тела Господня нечистыми руками. Терпение его было велико, но вот ему пришел конец. «Ибо ты содеял это втайне, а я содею перед всем народом Израилевым и перед солнцем; *сын, рожденный от тебя, умрет*».

Глава II

Мистеру Джеймсу Бертону совсем не улыбалась затея его сводного брата «шататься по Швейцарии» вместе с Монтанелли. Но запретить эту невинную прогулку в обществе профессора богословия, да еще с такой целью, как занятия ботаникой, он не мог. Артуру, не знавшему истинных причин отказа, это показалось бы крайним деспотизмом, он приписал бы его религиозным и расовым предрассудкам, а Бертоны гордились своей веротерпимостью. Все члены их семьи были стойкими протестантами и консерваторами еще с тех давних пор, когда судовладельческая компания «Бертон и сыновья, Лондон — Ливорно» только возникла, а она вела дела больше ста лет.

Бертоны держались того мнения, что английскому джентльмену подобает быть беспристрастным даже по отношению к католикам; и поэтому, когда глава дома, наскучив вдовством, женился на католичке, хорошенькой гувернантке своих младших детей, старшие сыновья, Джеймс и Томас, мрачно покорились воле Провидения, хотя им и трудно было ми-